

**Балто-славянский языковой компонент в Нижнем Прикамье в сер. I тыс. н. э.**

В финно-угроведении достаточно разработан вопрос о балтских (собственно, восточно-балтских, из языка литовского типа) заимствованиях в прибалтийско-финских и саамском языках [Thomsen 1890; Kalima 1936], хуже обстоит дело с балтизмами в волжско-финских языках: в серьёзных работах учтены за редчайшим исключением только те из них, которые имеют параллели в прибалтийско-финском, и считается, что общее число балтизмов в мордовском – около десятка, а в марийском – не более четырёх [Kalima 1936: 191], поиск же сепаратных балтизмов в волжско-финских языках остаётся в основном на дилетантском уровне. Между тем такой поиск, а равно и поиск следов бывших балтских контактов и в более восточных финно-угорских языках, прежде всего – в пермских, вполне правомерен, учитывая ту безусловно значительную роль, которую играло балтоязычное население в этнической истории Восточной Европы в римское время и в раннем средневековье. Попытку выделить ряд балтизмов в восточных финно-угорских языках предпринял в своё время Б. А. Серебренников [Серебренников 1957], но, к сожалению, предложенные им этимологии в основном (см. ниже о ПШерм. \**rit* ‘вечер’) не выдерживают критики (см. [Кнабе 1962]).

В связи с существующим в археологии мнением о происхождении создателей именьковской археологической культуры IV-VII вв. Среднего Поволжья – Нижнего Прикамья из балто-славянского ареала мною была предложена гипотеза о том, что ряд слов в языках народов Волго-Камья и прежде всего в пермских языках происходит из достаточно старого балто-славянского диалекта, которым, судя по времени и характеру этих заимствований вполне мог быть язык создателей именьковской археологической культуры (далее – просто “именьковский язык”) [Напольских 1996; Napol'skich 1996]. Поскольку особенности языка-источника этих заимствований указывали на его близость к праславянскому, он был определён как “протославянский” в русском варианте сообщения и как “Vorslawisch” – в немецком<sup>1</sup>. Я при этом имел в виду язык близкий (и лингвистически и, очевидно, по месту его первоначального формирования) к праславянскому, но не идентичный ему. Можно было бы, вероятно, говорить просто о “балто-славянском” или даже “балтском” диалекте, исходя из принимаемой мною в общем гипотезы о праславянском как периферийном члене макробалтского языкового континуума, однако было важно указать не просто балто-славянскую принадлежность данного языка, но и его специальную близость к праславянскому. Здесь, очевидно, необходимо остановиться на существующей традиции смешивать этноним (самоназвание исторической группы племён) “славяне” и название языка соответствующей этнической группы “славянский” с одной стороны – и чисто лингвистический термин “славянский”, характеризующий язык определённого типа со всеми особенностями, отличающими его от других индоевропейских языковых систем, с другой. Безусловно, имя славян как этнической общности (и, соответственно – языков или диалектов, на которых говорили члены этой общности) может быть употребимо, лишь когда речь идёт о событиях с середины VI в. н. э., со времени выхода славян на историческую арену. Но это не означает, что славянские языковые особенности сложились только к VI в., и что эти особенности были присущи речи только исторических славян или их прямых предков<sup>2</sup>: совершенно очевидно, что эти особенности должны были развиваться в определённой части балто-славянского (макробалтского) языкового ареала задолго до появления славян на

<sup>1</sup> Следует, правда, заметить, что в тексте статей иногда использовалось определение “славянский” или “праславянский” / “Urslawisch” – и это, конечно, было моей ошибкой. Однако, в формулировке выводов и в заголовках присутствовал только термин “протославянский”.

<sup>2</sup> Аналогичная ситуация существует и в тюркологии, где также часто не проводится грань между, допустим, языком огузов и огузскими (огузского типа) языками, и это очевидно является одной из причин путаницы и разнобоя в существующих классификациях тюркских языков.

границах Византии, и соответствующие изоглоссы могли охватывать не только собственно речь прямых предков славян, но и речь соседствующих с ними балто-славянских (балтских) групп, о языках которых, не оставивших живых языков-потомков, мы не имеем и едва ли будем иметь когда-либо реальные данные. Согласно применяемой в уралистике терминологии [Хелимский 1989: 5; Напольских 1997а: 113] такие диалекты можно было бы называть “параславянскими”.

Все эти терминологические тонкости имеют на самом деле принципиальное значение, поскольку непонимание названных терминов привело к тому, что в работах коллег-археологов предложенная мною гипотеза стала трактоваться как аргумент в пользу праславянского или просто славянского без каких-либо оговорок языка создателей именьковской культуры (см., например [Кляшторный, Старостин 2002: 216]), что является очевидным анахронизмом, и более того – как аргумент в пользу отнесения именьковцев к неким мифическим славянам-“русам” [Седов 2000], за что уж я никак не могу разделить ответственности.

Это обстоятельство обуславливает необходимость вернуться к гипотезе о балто-славянской (или параславянской) принадлежности “именьковского языка”. Ниже приводится ряд этимологий, позволяющих предполагать наличие в финно-угорских и тюркских языках Волго-Камья старых заимствований из балто-славянского языка. Преимущество пермского языкового материала объясняется не тем, что пермские языки имеют больше такого рода заимствований, но исключительно личными интересами автора. Ряд слов, в том числе и предлагавшихся на роль балтизмов в работах других авторов, я по разным причинам пока не готов включать в данный список, хотя допускаю, что в дальнейшем они вполне могут его пополнить (см. например: коми *ram* ‘спокойный’; коми *erd* ‘поляна’; мар. *kot* ‘год, время’; мар. *rüdaŋ* ‘ржавый’; морд. *kaʀast* ~ мар. *karaš* ~ удм. *karas* ‘соты’; коми *kekijl* ‘комочек муки в тесте; хлебец’ ~ удм. *kogil'i* ‘пирог’ ~ мар. *koyil* ‘пирог’ ~ чув. *kuGâl* ‘пирог’ и др.). Вообще весьма вероятно, что список заимствований из “именьковского языка” может быть изрядно пополнен при более активном привлечении мордовских, чувашских и марийских материалов.

### 1.1. ППерм. *\*ružeg* ‘рожь’.

Удм. *žeg*, (малм.-урж.) *žizeg* ~ коми *ružeg* ‘рожь’ < ППерм. *\*ružeg* ‘рожь’, где *\*-eg*, возможно, общепермский отымённый суффикс существительных с неясным значением (в удмуртском, например, сохраняется в основном в именах собственных типа *Шудег* < *šud* ‘счастье’). С пермским названием ржи сопоставляли морд. (м., э.) *rož*, мар. *urža, ruža*, (г.) *ärža* ‘рожь’ [КЭСК: 245], что неверно по крайней мере в отношении марийского названия ржи, которое фонетически не сопоставимо с пермским и является поздним русским заимствованием, проникшим, возможно, через посредство тюркских языков Поволжья – ср. чув. *iraš*, тат., башк. *aräš* ‘рожь’ ← рус. *рожь* [Ахметьянов 1989: 48-49; ЭСРЯ III: 494]. Мордовское слово скорее всего восходит к более старой (древне)русской праформе с мягким *\*ž* (подобно древнерусским заимствованиям в коми: *šar* ‘мяч’ ← *шарь* или *liž* ← *лыжи*). ППерм. же *\*ruž-* отражает форму языка-источника с аффрикатой и, таким образом, невыводима не из русского, не из древнерусского, что было показано ещё Х. Паасоненом, который связывал мордовское и пермское названия ‘ржи’ с фрак. *βρίζα* ‘вид злака, рожь’, предполагая, что пермско-мордовский корень восходит к слову какого-то иранского языка [Paasonen 1906: 2-5]. Фракийское слово имеет надёжные параллели в арийских языках: др.-инд. *vṛithi-* ‘рис, Getreide’, перс. *birinj* ‘рис’, кати *wriç* ‘ячмень’ и т. д., которые восходят к праформе типа ар. *\*urī(n)jhi-* и представляют собой культурный термин неясного происхождения [Maurohofer III: 282]. Однако, вокализм первого слога (ар. *\*ī* при ППерм. *\*u*), а также и значения данного слова (при ППерм. ‘рожь’, и именно рожь как *озимая* культура – см. ниже – в арийских языках прежде всего ‘рис’, что, указывает скорее на специально южноазиатское происхождение и арийского термина и обозначаемой им реалии), делают

гипотезу Х. Паасонена о происхождении пермского названия ржи из арийского источника маловероятной.

Немаловажны здесь также историко-культурные и палеоботанические аргументы. Хотя в историческое время некоторые сорта ржи были известны населению горных областей Средней Азии, Ирана и Малой Азии, едва ли эта культура была распространена у ираноязычного населения степной и лесостепной зоны Поволжья и Приуралья, из языка которого в пермский праязык попали многочисленные иранизмы, поскольку рожь на Памире, например, тяготеет не к долинам, а к высокогорным областям, тем, где климатические условия затрудняют выращивание пшеницы. Кроме того, известные в иранских языках названия ржи (перс. *gandumdar*, *ǰawdar*, вахан. *lašək* < \**dāsak*) не связаны с др.-инд. *vr̥hi-* ~ перс. *birinj* [Стеблин-Каменский 1982: 29-31]. Что касается Европы, хорошо известно, что рожь начала культивироваться очень поздно, будучи первоначально, как и в Средней Азии, сорным растением, засорявшим посева пшеницы и ячменя, и стала релевантным в хозяйственном отношении злаком не ранее начала железного века (реально – к середине I тыс. до н. э.) в северной и средней части Восточной Европы, в балто-славяно-германском ареале – отсюда и распространение дериватов древнего балто-славяно-германского названия ржи \**rughi-* в тюркских, марийском (см. выше) и венгерском (из славянских) и в прибалтийско-финских (из германских или балтских [SKES: 856]) языках [Общая лексика: 203-204; Иванов, Гамкрелидзе 1984 II: 659].

Распространение ржи в Среднем Поволжье – Нижнем Прикамье происходит, видимо, когда в этом регионе складывается развитое пашенное земледелие на свободных (очищенных от леса) землях с систематическими озимыми посевами, и значительный удельный вес ржи в посевах отмечается на данной территории лишь для конца I – начала II тыс. н. э., при этом распространение пашенного земледелия шло вдоль южной границы лесной зоны с запада через бассейны Суры и Свияги на Нижнюю Каму [Краснов 1971: 19-20; Прокопов 1983: 96-101], а самая ранняя фиксация ржи в Прикамье – на Верх-Саинском городище VI-XI вв. н.э. [устное сообщение проф. Р. Д. Голдиной]. Речь может, таким образом, идти только о весьма позднем, финальном периоде пермско-иранских контактов, когда в пермский праязык проникали заимствования из языка очень близкого осетинскому (ср. удм. *badžim* ‘большой’ ← иран.: осет. *bæzǰyn* ‘толстый’, удм. *andan* ‘сталь’ ← иран.: осет. *ændon* ‘сталь’ и т. д.). Сохранение в этом языке-источнике формы, близкой фонетически к ар. \**ur̥i(n)ǰhi-* невозможно: следовало бы ожидать скорее что-то вроде \*\**ælvi(n)ǰ(æ)* (ср. осет. *ælvimun* ‘стричь’ при др.-инд. *br̥ināmi* с закономерными переходом \**ri* > \**li*, метатезой и протезой начального кластера [ОИЯ 1987: 563]), откуда ППерм. \**ružeg* уже никак невыводимо<sup>3</sup>.

Показательно, что дериваты ППерм. \**ružeg* служат именно для обозначения озимых, например в удм. *žeg ud* ‘озимые’ (букв. ‘поросль ржи’), *žeg lud* ‘озимое (букв. ‘ржаное’) поле’ (едва ли такая функция где-нибудь засвидетельствована для ар. \**ur̥i(n)ǰhi-* – см. выше). Нельзя при этом не заметить, что и второе (основное) название для озимых является очень старым русским заимствованием: удм. *užim*, коми *ęžim* ‘озимь’, что также указывает на западные, славянские истоки традиции озимого земледелия и возделывания основной озимой культуры, ржи, у пермских народов<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Осет. (диг.) *rozingæ* ‘культовый хлеб, калач’ несмотря на почти идеальную фонетическую близость к ППерм. \**ružeg* не может быть источником последнего, поскольку представляет собой позднейшую диалектную дигорскую семантическую инновацию ‘светлый’ > ‘священный’ > ‘священный хлеб, калач’: ср. ирон. *rūzung* ‘окно’ < ир. \**rauša-* ‘свет’ [ИЭСОЯ II: 429].

<sup>4</sup> Переход \**o* > *u* имел место в удмуртском языке достаточно давно, и большинство русских заимствований под него не попали – поэтому в принципе можно было бы относить и это слово к кругу рассматриваемых в данной статье древних заимствований. Более того, высказывалось предположение о возможности праславянского происхождения всех удмуртских слов с переходом исконных инлаутного \*-*o-* в -*u-*, и ауслаутного \*-*a* в -*o* типа *kuso* ‘коса’ и др. [Насибуллин 1992]. С этим, однако,

Особую проблему представляет соотношение балто-славяно-германского \**rughi-* ‘рожь’ (> герм.: нем. *Roggen* и т. д.; балт.: прус. *rugis*, лит. *rugỹs*, лтш. *rudzis*, ПСлав. \**rũžĩ*) и ар. \**urī(n)jhi-* (с возможным – если слово всё-таки не является культурным термином южноазиатского происхождения – ПИЕ прототипом \**urī(n)ghi-*): на базе сравнения фрак. *βρίζα* (без дальнейших арийских параллелей!) с балто-славяно-германским материалом было реконструировано ПИЕ \**urughi-* ‘рожь’ [IEW: 1183], отсылки к которому делают и по сей день<sup>5</sup>, хотя уже давно было показано различное происхождение фракийского (с арийскими параллелями) и балто-славяно-германского слова [Porzig 1974: 143]. По-видимому, фонетические различия между \**rughi-* и \**urī(n)ghi-* непреодолимы и не позволяют реконструировать общую индоевропейскую праформу<sup>6</sup>.

Таким образом, источником пермского названия ржи как с точки зрения исторической, так и фонетической мог быть только какой-то дериват германо-балто-славянского термина. В праславянском в ходе второй палатализации должно было иметь место следующее развитие: \**rughi-* > \**rudži* > \**rũžĩ*; именно промежуточная форма \**rudži* могла послужить источником для ППерм. \**ružeg*; возможность такой же палатализации в каких-то древних балтских диалектах (как – видимо, очень поздно – в латышском) также не исключена. Таким образом, предположение Ф. Хена (V. Hehn, цитировано по [Raasonen 1906: 1]) о славянском происхождении пермского названия ржи вполне может быть принято при некоторой модификации: источником ППерм. \**ružeg* была форма \**rudži* древнего балтского (балто-славянского) диалекта, в котором происходила палатализация заднеязычных смычных по типу второй славянской.

#### 1.2. Название ‘спорыньи’ в языках Урало-Поволжского региона.

Спорынья (*Claviceps purpurea*) – паразит, чаще всего встречающийся именно на ржи, и историческая связь их названий вполне естественна. В языках Урало-Поволжья спорынья чаще всего буквально именуется ‘мать ржи’: удм. *žeg anaj*, (сев.) *žeg tumi*, мар. *uržaba*, морд. (м., э.) *rož ava*, чув. *įraš amāsā*, тат. *arāš anasā* – или ‘рожь-отец’/ ‘отец ржи’: морд. (м.) *a’a-rož*, башк. *arāš atahā*. Аналогичные названия – в венгерском (*anya-rozs* ‘спорынья’, букв. ‘мать-рожь’) и в вепском (*mamšRňjüva* ‘спорынья’, букв. ‘бабье, старушечье зерно’). По-видимому, в данном случае мы имеем дело с калькированием старого балто-славяно-германского названия спорыньи: ср. нем. *Mutterkorn*, *Roggenmutter*, голл. *moederkoren*, дат. *moderkorn* ‘спорынья’ (букв. ‘материнское зерно’, ‘ржаная мать’) [Kluge 1989: 495]<sup>7</sup>, лтш. *rudzu tēvs* ‘спорынья’ (букв. ‘отец ржи’) [Общая лексика: 210], рус. (Смоленск) *житная* (то есть ‘ржаная’) *матка*, укр. *матиця*, болг. *матица* ‘спорынья’ [СРНГ IX: 192; ЭССЯ XVII: 359, 362]. Такие названия связаны с представлениями о том, что спорынья якобы бывает на самых густых колосьях ржи и связана с высоким урожаем, поэтому

---

едва ли можно согласиться: в данных словах нет особенностей, позволяющих аттестовать их как праславянские, а не собственно русские. Кроме того, в нашем, например, случае удм. *užim* и коми *ežim* закономерно отражают рус. *озимь*, откуда они оба независимо и заимствованы, а не из ППерм. \*\**ožim* (праформа по удмуртскому вокализму) или \*\**ožim* (праформа по коми вокализму). С другой стороны, однако, коми *kosa* ~ удм. *kuso* ‘коса (орудие)’ формально вполне сводимы к ППерм. \**kosa*!

<sup>5</sup> См., например в [Иванов, Гамкрелидзе II: 658] – при том, что эти авторы признают ареальное, балто-славяно-германское происхождение данного слова и не упоминают даже фрак. *βρίζα*!

<sup>6</sup> Впрочем, этот запутанный вопрос имеет смысл рассмотреть в специальном исследовании, где стоило бы, наверное, привлекать ещё и алб. *vrug* ‘спорынья, грибок, ржавчина’ (имея в виду распространённую связь названий спорыньи и ржи в разных языках – см. ниже) – отражающее, как будто, с одной стороны праформу с велярным \**-gh-*, но, с другой стороны, с начальным кластером \**ur-*.

<sup>7</sup> Предположение Ф. Клуге о калькировании в германских языках лат. (точнее – ново-латинского) *secalis mater* ‘спорынья’ вряд ли верно: в свете приводимых балто-славянских параллелей, а также исходя из данных о происхождении культуры ржи, более вероятно обратное направление калькирования (как справедливо полагали, например, авторы [MTESz I: 161]).

спорынбей (от спорый, т. е. ‘изобильный’) или житной маткой называли не только грибок, но и содержащий максимальное количество колосьев стебель [СРНГ IX: 192].

Для венгерского *anya-rozs* предполагается германский источник калькирования [MTESz I: 161], для языков Поволжья и Приуралья надо предполагать русский, но этому препятствует ограниченность распространения названий типа *житная матка* в русских диалектах (по крайней мере – по данным СРНГ) и наличие их в языках менее затетых русским влиянием (марийский, татарский, башкирский) при отсутствии, например, в активно заимствовавшем русскую лексику языке коми. Кроме того, название типа ‘отец ржи’, зафиксированное в мордовских и башкирском, кажется, и вовсе отсутствует в русском языке и имеет параллель только в латышском.

В коми и удмуртском языках имеется и другое название спорыньи: удм. *žeg už* ‘ржаной жеребец’, *žeg ulošo* ‘ржаной мерин’, коми (скт., ввыч. и др.) *už piń* ‘жеребачий зуб’, (луз.) *vev piń*, (всыс.) *vev piń* ‘лошадиный зуб’, (лет.) *už eć* ‘жеребьячье зерно’ [ССКЗД: 397]<sup>8</sup>, которое имеет параллель в прибалтийско-финских языках: ф., кар. *härgänjyvä*, эст. *härja-iva*, вепс. *härگانjüva* ‘спорынья’, букв. ‘бычье зерно’.

Интересно то, что первый компонент в прибалт.-ф. *\*härgänjyvä* является балтизмом с исконным значением ‘жеребец’: прибалт.-ф. *härkä* < *\*šärkä* ‘бык’ ← балт.: лит. *žirgas*, лтш. *zirgs*, прус. *sirgis* ‘жеребец’, и источником данных прибалтийско-финских названий спорыньи был, видимо, балтский термин типа ‘жеребьячье зуба зерно’ – ср. лтш. *zirgu zuobi* ‘спорынья’, букв. ‘жеребьячьи зубы’ [SKES: 99]. При этом в пермских языках отражено не прибалтийско-финское (‘бык’), а исконное, балтское (‘жеребец’) значение, что заставляет усомниться в возможности проникновения данного названия спорыньи в пермский праязык через прибалтийско-финское посредство. Важно, что уже в новой своей форме (после перехода значения ‘жеребец’ > ‘бык’) прибалт.-ф. ‘спорынья’ = ‘бычье зерно’ было калькировано в самом западном коми диалекте – удорском: (уд.) *eš tus* ‘спорынья’, букв. ‘бычье зерно’ [ССКЗД: 397]; и позднее время этого заимствования маркируется также тем, что коми *tus* ~ удм. *tis* < ППерм. *\*tus* ‘зерно’ заимствовано из болгарского языка (т. е. не раньше конца VIII в.): чув. *tüš* ‘зерно, ядро’ [Wichmann 1903: 108] в отличие, например, от более старого *eć* ‘зерно’, использованного в (лет.) *už eć* – см. выше). Общепермское название спорыньи *\*‘жеребьячье зуба зерно’* может, таким образом, рассматриваться как прямое калькирование какого-то балтского источника, без прибалтийско-финского посредства.

Приведённые материалы позволяют высказать предположение о том, что калькирование одного из названий спорыньи (*\*‘жеребьячье зуба зерно’* или *\*‘мать (/отец)-рожь’*) могло иметь место ещё в эпоху первого знакомства народов Волго-Уральского региона с рожью, и источником этого заимствования должен был быть какой-то ранний язык балто-славянского круга.

2. ППерм. *\*lud* (< *\*lvnt-*) ‘участок земли: поле, луг, пастбище, поляна, (священная) роща’.

Удм. *lud* ‘поле; луг; священная роща – место языческих молений; дух-хозяин священной рощи; дикий (только о животных в противоположность домашним: *lud žažeg* ‘дикий гусь’, *lud čež* ‘дикая утка’)’ ~ коми-зыр. *lud* ‘лужайка, луг, пастбище’, коми-перм. *lud*, *vud* ‘лужайка, поляна; пастбище; дёрн’, коми-язьв. *lud* ‘маленькое поле’ < ППерм. *\*lud*; очевидно, общим для семантики дериватов этого корня во всех пермских диалектах является представление об ограниченном, небольшом участке земли, покрытом растительностью (луг, пастбище, роща) или обработанном (поле), причём последнее не обязательно, скорее – это участок дикой природы, пригодный для использования в хозяйственных или сакральных

<sup>8</sup> Предположение о том, что в данных композитах слово *už* является якобы каким-то пермским названием спорыньи, а не означает буквально ‘жеребец’ [КЭСК: 296] ни на чём не основано и опровергается свободной заменой *už* ‘жеребец’ на удм. *ulošo* ‘мерин’, коми *vev* ‘лошадь’.

целях. В удмуртской религиозной традиции священная роща *lud* противостоит домашнему святилищу *kuala*, к которому приурочен культ семейно-родовых покровителей; роща *lud* при этом – место моления богам, управляющим силами природы, дух-хозяин священной рощи, именуемый также *lud* – существо если не прямо враждебное людям, то во всяком случае опасное и строгое, насылающее болезни и прочие кары за нарушение порядка, шум, рубку деревьев в роще и т. п. [Holmberg 1914: 105-113]. Значение ‘дикий’ у удм. *lud* очевидно связано с противопоставлением этого понятия домашней человеческой сфере.

В финно-угроведении принято пермские слова сравнивать с фин. *lansi* ‘низина’, *lansea* ‘глубокий, низкий’, нен. *lamtu* ‘низкий’ и др. и возводить к ПУ *\*lamte* ‘низкий, глубокий; низменность’ [UEW: 235-236, 263]. Фонетически сопоставление почти безупречно, но сложную семантику пермских слов трудно вывести из значения ‘низкий, глубокий’, а удм. *lud*, напротив, обозначает как раз возвышенные, приметные места.

Нет прямых оснований реконструировать значение ‘низкий, глубокий’ и для второго компонента мар. *\*mә-lande* ‘земля’ (см. ниже), как это предполагается в [UEW: 263]. Для пермских и марийского слов можно восстановить праформу *\*lante* с основным значением ‘участок земли’, которое сопоставимо с ПИЕ (балто-славяно-германско-кельтским) *\*lendh-* / *\*londh-* ‘свободная земля, пустошь, степь’ (прусс. *linda-* ‘долина’, рус. *ляда*, др.-исл. *lundr* ‘роща’, нем. *Land*, др.-ирл. *land* ‘земля, свободное место’) и в особенности – с ПСлав. *\*lęda* / *\*lędŭ* ‘участок некультуренной земли, пригодный для сельскохозяйственного использования’ [ЭССЯ XV: 44-48; IEW: 675]. Разнообразие значений дериватов ППерм. *\*lud* и удм. *lud* удивительным образом точно перекликается со сложным набором значений дериватов ПСлав. *\*lęda*: ср., например, в русских диалектах *ляда* (< *\*lęda*) – ‘поле; луг; покос; луг, окружённый лесом; рощище; участок леса; лес; пустошь’; а также во всех восточнославянских языках *ляд* (< *\*lędŭ*) ‘нечистая сила; чёрт; злой дух, насылающий болезни’. Полисемантичность рефлексов объясняется сложностью самого понятия *\*lęda*, которое ещё на праславянском уровне служило названием участка ещё дикой природы (*terra inculta*), предназначенного к расчистке и противопоставлялось обработанной, окультуренной земле (ПСлав. *\*orlĭja*) [ЭССЯ XV: 46]. Корень типа ПСлав. *\*lęda* был, видимо, заимствован и в марийский язык в качестве второго компонента сложного слова *\*mә-lande* ‘земля’ (см. ниже).

### 3. Название ‘земли’ в финно-угорских языках Волго-Камского региона.

3.1. Удм. *muzjem*, (гл., бес., малм.-урж.) *muźjem*, (малм.-рж., уф.) *muzżem* ‘земля, страна’ [Wichmann 1987: 167]. Слово выглядит как новообразование, состоящее из удм. *tu* ‘земля, почва’ или *muz* ‘поверхность под ногами: земля, пол’ (оба в конечном счете < ПФУ *\*maγe* ‘земля’ [UEW: 263]) с неясным вторым компонентом *-żem* / *-zjem* / (?) *-jem*. Семантически удм. *tu* и *muzjem* ‘земля’ различаются довольно слабо: *muzjem* имеет более широкое употребление и более широкое семантическое поле, может обозначать помимо пахотной земли, например, ‘страну’, ‘планету Земля’ или ‘сушу’, в то время как *tu* употребляется реже и прежде всего в значении ‘пахотная земля, почва, пласт земли’ а также как ‘земля как стихия (наряду с небом, водой и т. д.)’. Более общая семантика *muzjem* скорее свидетельствует о том, что перед нами – композит из двух квазисинонимов типа удм. *piosmurt* ‘мужчина’ < *pios* ‘мужчина, человек мужского пола’ + *murt* ‘человек, мужчина’ или *juńań* ‘хлеб (в поле и в закромах)’ < *ju* ‘хлеба (в поле), жито’ + *ńań* ‘хлеб (преимущественно – печёный хлеб, Brot)’ и т. п.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Единственная теоретически мыслимая альтернатива – предположение о том, что *muzjem* есть субстантивированная форма перфектного причастия *\*\*muzjem* от глагола *\*\*muzjinj* ‘стать поверхностью под ногами’ < *muz*. Однако отсутствие в удмуртском языке такого глагола, а равно – странная первоначальная семантика слова *muzjem* в этом случае (‘ставшее поверхностью под ногами’) и неясная мотивация подобного словообразования делают это предположение весьма маловероятным.

Поэтому трудно не сопоставить второй компонент этого сложного слова *-zem / -zjem* с балт. *\*zeme*, ПСлав. *\*zemĭ* ‘земля’ (< ПИЕ *\*dhǵhem-* / *\*ǵhdhem-* [IEW: 414-415]): *\*zeme / \*zemĭ* → ППерм. *\*žem* > удм. *mu(z) + žem > muzžem / muzjem* (последняя форма могла возникнуть вследствие диссимиляции).

Предположение о балто-славянском источнике удм. *-žem / -zjem* выглядит предпочтительнее прежде всего потому, что, по-видимому, аналогичные сложные слова с первым компонентом-дериватом ПФУ *\*maγe* и вторым компонентом балто-славянского происхождения представляют собой названия ‘земли вообще, страны’ (как правило в отличие от ‘пахотной земли, почвы’) и в марийском и мордовских языках (см. ниже). Возникновение специальных сложных слов для обозначения ‘земли-страны’, состоящих из заимствованного слова и дериватов древнего ПФУ *\*maγe*, имевшего, по-видимому, широкое общее значение ‘земля, страна, почва и т. д.’ – достаточно естественное явление, которое могло быть связано с развитием земледельческого хозяйства, становлением новых форм общинной и индивидуальной собственности на землю, социально-политических отношений. Нельзя не отметить и ещё одну особенность удмуртских композитов из двух квазисинонимов, которая также может косвенно свидетельствовать в пользу приводимой здесь гипотезы о происхождении удм. *muzjem*: из двух компонентов, составляющих такие сложные слова первый как правило является более старым или принадлежит к исконной (прапермской, прафинно-угорской) лексике а второй – более поздним заимствованием или новообразованием: *niłkišno* ‘женщина, человек женского пола’ < *nił* ‘девушка, дочь’ (< ПФУ) + *kišno* ‘жена’ (собственно удмуртское новообразование [Напольских 2002]); *kišnomurt* ‘(взрослая) женщина’ < *kišno* ‘жена’ + *murt* ‘человек’ (← иран.); *sidan* ‘слава, почёт’ < *si* ‘честь, почёт’ (← булг.) + *dan* ‘слава’ (← тат.); *pudoživot* ‘домашний скот’ < *pudo* ‘скот’ (← иран.) + *život* ‘животное’ (← рус.), то же самое верно и для приведённых выше *piosmurt*, *juñañ* и т. д. – по всей вероятности, в этих композитах старое слово служит своего рода детерминативом поясняющим значение слова нового<sup>10</sup>.

3.2. Мар. *mlande*, *mālande*, (г.) *müländə* < *\*mā-lande / \*mā-lānde* ‘земля’. Явное словосложение, где *\*mā-* < ПФУ *\*maγe* ‘земля’ [UEW: 263], а *-lande / -lānde* следует связывать с ППерм. *\*lud* и рассматривать как заимствование из балто-славянской формы типа ПСлав. *\*ləda* – см. выше. В качестве дополнительного аргумента против финно-угроведческой этимологии мар. *-lande / -lānde* < ПУ *\*lamte* ‘низкий, глубокий; низменность’ [UEW: 235-236, 263] – помимо доводов, приведённых выше в связи с ППерм. *\*lud* – можно указать и на то, что очевидный дериват ПУ *\*lamte* ‘низкий, глубокий; низменность’ > мар. (г.) *landaka* ‘небольшая низина, низкое место’ имеет заднерядный вокализм в отличие от *müländə*. Вообще каких-либо специальных причин для сдвига вокализма вперёд в мар. (г.) *müländə* нет – кроме предположения о том, что качество корневого гласного в исходном балт.-слав. *\*lenda-* было промежуточным между *a* и *e* (ср., например, расширение и веляризацию этимологического *\*e* при назализации во французском и польском языках), вследствие чего при заимствовании в прапермский (для вокализма которого *\*ä* не реконструируется) он был адаптирован как *\*a*, а в прамарийском (*\*ä* восстанавливается) – как *\*ä*, которое сохранилось в горномарийском и повлияло на вокализм композита *müländə* в целом.

3.3. Морд. (э.) *mastor*, (м.) *mastār* ‘страна, земля’ (в противоположность *moda* ‘земля-субстанция, почва’). Данное мордовское слово авторы UEW по непонятным причинам

<sup>10</sup> Естественно, возможны и исключения, напр. *šudbur* ‘счастье’ < *šud* ‘счастье’ (← иран.) + *bur* ‘добро’ (< ПФУ), которые, однако, более редки и объяснимы (в данном случае удм. *bur* представляет собой по сути не самостоятельное слово, а основу, употребляемую практически только в производных и композитах, а *šud* – очень давно заимствованное и органично вошедшее в духовную культуру народа понятие).

не сочли возможным привести в статье о ПФУ *\*maγe* ‘земля’. Для мордовских лингвистов, однако, выделение компонента *ma-* < ПФУ *\*maγe* выглядит очевидным, но “элемент *-стор* является загадкой” [Цыганкин, Мосин 1977: 56]. В свете предложенных выше гипотез о происхождении удмуртского и марийского слов для ‘земли’ как композитов из деривата ПФУ *\*maγe* и балто-славянских заимствований представляется весьма перспективным сопоставление морд. *\*-stor* с ПИЕ *\*stor-* / *\*ster-* ‘стелить, простирать(ся), распространять(ся), рассыпать’, имеющим огромное количество производных во многих индоевропейских языках (др.-инд. *str̥nāti*, лат. *sternō* и т. д.) [IEW: 1029-1030]; при этом только в славянских языках неосложнённый префиксацией (как рус. *простор* ~ др.-инд. *prastara-*) дериват этого корня, ПСлав. *\*storna* получает значение ‘сторона, страна’ [ЭСРЯ III: 768], что точно соответствует семантике мордовского слова. При заимствовании формы типа ПСлав. *\*storna* расширение *\*-na* могло восприниматься в мордовском как суффикс, например – уменьшительно-ласкательный (ср. морд. (м.) *mast̆r̆nej* ‘земелюшка (в молитвах)’ [MW: 1190] и впоследствии отпасть. Принятие данной этимологии предусматривает важный вывод относительно языка-источника, в котором должен был сохраняться ПИЕ *\*o* как в праславянском, в то время как в известных балтских языках имел место по-видимому достаточно старый переход *\*o > \*a*.

#### 4. ППерм. *\*gor-* ‘гора’.

Удм. *gurež*, (малм., сред.) *gurež* ‘гора’ ~ коми (скт., уд. и др.) *goruv*, (ввыч., вым. и др.) *gorul* ‘под гору, вниз’ (*ul / uv* ‘низ’) < ППерм. *\*gor-* ‘гора’ [КЭСК: 79]. Безусловно, сходные слова встречаются во многих языках: см., например, ностратическую реконструкцию *\*Kara* ‘скала, крутая возвышенность’ [Иллич-Свитыч 1971: 340], однако приведённые выше славянские этимологии для пермских слов, обозначающих землю, участки земли, и отсутствие надёжных параллелей в других уральских языках (характерно, например, что в финно-угроведческой литературе ППерм. *\*gor-* не принято даже упоминать в связи с сопоставлением ф. *korkea* ‘высокий’ ~ мар. *k̆r̆k̆* ‘гора’ и т. д. [КЭСК: 79; UEW: 672, 677]) заставляют более внимательно отнестись к возможности сравнения ППерм. *\*gor-* непосредственно с ПСлав. *\*gora* ‘гора’ [ЭССЯ VII: 29-30] (< ПИЕ *\*g<sup>h</sup>or-* [IEW: 477-478]). Интересна и форма удмуртского слова *gurež*, в которой можно было бы видеть суффикс *-ež* (возможно, из ППерм. *\*až* ‘перед, передняя часть’), весьма, впрочем, старый и малопродуктивный: из полутора десятков слов удмуртского языка на *-ež* [Насибуллин, Дудоров 1992: 211] только в пяти можно предполагать такой суффикс (*tabež* ‘чашка, тарелка’ < *taba* ‘сковорода’; *vugež* ‘скоба, дужка’ < *vug* ‘тж’; *erež* ‘штаны’ < *er*: *ervjži* ‘пах’ (*vjži* ‘корень’); *girež* ‘сырой, недоваренный; крепкий, большой’ < *gir*: *girpiń* ‘клык’ (*piń* ‘зуб’); *lugež* ‘жертвенные серебряные деньги’ < (?) *jug* ‘свет’), в то время как в трёх случаях имеет место явное заимствование (*irevež* ‘ревизия’ < рус.; *amež* ‘лемех’ < ир. *āmāč*; *zarež* ‘море’ < ар. *zrayas*). Возможно, поэтому, что удм. *gurež* < ППерм. *\*goržez* является заимствованием непосредственно из формы типа ПСлав. *\*gorica* ‘горка’ [ЭССЯ VII: 45].

#### 5. ППерм. *\*gobz* ‘гриб’.

Удм. *gubi* ‘гриб’ ~ коми *gob* (*gobj-*) ‘гриб (съедобный губчатый)’ < ППерм. *\*gobz* (где *\*-b-* может быть из более древнего *\*-mp-*) ‘гриб (съедобный)’ [КЭСК: 76-77]<sup>11</sup>. Это слово нельзя рассматривать отдельно от булг. *\*gūmbā* отражённого в чув. *k̆mBa* ‘гриб (как губчатый, так и древесный); бородавка; шишка, нарост (на голове)’ и тат., башк. *gōmbä* ‘гриб’.

<sup>11</sup> Предлагаемая в [КЭСК: 76] праформа *\*gōbβ* из собственно пермского материала никак не вытекает и базируется, во-первых, на реконструкциях раннепрапермского вокализма, основанных на сопоставлении пермской лексики с параллелями в других финно-угорских языках (в данном случае перед нами никак не прафинно-угорское слово, следовательно, этот аргумент не имеет смысла) и, во-вторых, на априорном положении о заимствовании пермского названия ‘съедобного гриба’ из болгарского (ср. тат. *gōmbä*), что само по себе надо ещё было бы доказать.

Ясно, что как тюркские, так и пермские слова имеют в конечном итоге источник типа ПСлав. \**goba* ‘гриб, губка’ ~ лит. *gumbas* ‘шишка, желвак, нарост’, но вопрос о том, происходит ли пермское слово из болгарского или наоборот, или оба независимо заимствованы из балто-славянского источника однозначного ответа не имеет: традиционно принято считать (см., например, в [КЭСК: 76-77]), что в пермский праязык славянское (древнерусское) слово для ‘гриба’ попало из болгарского (древнечувацкого), поскольку в чувашском и татарском языках наличествует форма с сохранением носового, а в пермских имела место обычная пермская деназализация (\*-*mp-* > \*-*b-*). При этом предполагается прежде всего, что в эпоху начала болгаро-пермских контактов пермская деназализация ещё действовала, основанием для чего служат три предполагаемых болгаризма в прапермском, которые под эту деназализацию попали [Wichmann 1903: 129; Rédei 1969: 329; Rédei, Róna-Tas 1972: 289]:

– ППерм. \**gobz* ‘гриб’ – наш случай. Помимо обсуждаемой в данной статье возможности заимствования этого слова непосредственно из балто-славянского источника, укажу ещё на то, что это – единственное прапермское слово с анлаутным \**g-*, для которого предполагается болгарское происхождение (см. также культурно-исторические соображения ниже);

– удм. *kudj* ‘лукошко, корзина, короб’ ~ коми *kud* ‘тж’ < ППерм. \**kudz* – якобы из булг. \**χundy* < тю. \**qomdy* ‘ларь, ящик, корзина’. Существование булг. \**χundy* является чистым предположением: приводимое некоторыми авторами для его документации чув. *kunDâ* ‘лукошко, кузов из луба’ само является поздним заимствованием из татарского *qumta* ‘тж’ (тю. \**q-* должно было бы дать в исконно чувашском слове с велярным вокализмом *χ-* [Wichmann 1903: 76-77; Rédei, Róna-Tas 1972: 285-286]). С другой стороны, ППерм. \**kudz* ‘короб, лукошко’ вообще нет оснований считать заимствованием, поскольку оно без проблем возводится к ПФУ \**konte* ‘корзина’ [UEW: 177]. Близость же ПФУ \**konte* ‘корзина’ и тю. \**qomdy* ‘ларь, ящик, корзина’ – особый вопрос<sup>12</sup>, к пермской деназализации отношения не имеющий;

– удм. (елаб.) *kudjri*: *ižži kudjri* ‘околыш, опушка шапки’ (*ižži* ‘шапка’) [Wichmann 1987: 128], (малм.) *kudjro*: *miji-kudjro šuba* ‘бобровая шуба’ (*miji* ‘бобр’, *šuba* ‘шуба’) [Munkácsi 1896: 212], на основе чего реконструируется удм. \**kudjir* ‘бобр’ ← булг.: чув. *χânDâr* ‘бобровый мех’ < тю. \**qunduR* ‘бобр’ [Wichmann 1903: 77; Rédei, Róna-Tas 1972: 286]. Узкодиалектная фиксация удмуртских слов сама по себе настораживает. Главное же, однако, в том, что удм. \**kudjir* ‘бобр’ является по всей вероятности фикцией: значение ‘бобр, бобровый’ в обоих примерах реконструируется предположительно, и правомерность такой реконструкции вызывает большие сомнения: выражение *ižži kudjri* ‘опушка шапки’ скорее всего связано с удм. *kudjro* ‘кудри, кудрявый’ (← рус.) [Wichmann 1987: 128] и уж во всяком случае вообще никак не указывает именно на бобровый мех; выражение же *miji-kudjro šuba* ‘бобровая шуба’, записанное Б. Мункачи в единственном случае в богатырской легенде, может быть разъяснено не как *miji-kudjir-o šuba* букв. ‘бобр-бобровая шуба’, а как *miji ku djir-o šuba* < *miji ku dur-o šuba* ‘шуба с бобровой опушкой’ (где *miji* ‘бобр’, *ku* ‘кожа, шкура’, *dur* ‘край, оборка’, *-o* – суффикс наличия качества)<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> Поскольку дериваты тю. \**qomdy* встречаются только в тюркских языках «северного» ареала: в татарском, башкирском, сибирско-татарском, хакасском, алтайском, шорском, а монг. *qobdu* может быть тюркизмом, есть основания думать, что тюркское слово было заимствовано из какого-то финно-угорского языка.

<sup>13</sup> При анализе *miji-kudjro* как композита из двух квазисинонимов *miji* и \**kudjir* с суффиксом наличия качества *-o* следует реконструировать, собственно, не \**kudjir*, а \**mijjukudjir* ‘бобр’: при сохранении в языке отдельного слова \**kudjir* в значении ‘бобр’ следовало бы ожидать двойного употребления и суффикса *-o*: \*\**mijjo-kudjro*.

Таким образом, все три этимологии, приводимые для доказательства тезиса о том, что деназализация действовала в эпоху ранних пермско-булгарских контактов некорректны, а с другой стороны в удмуртском языке имеется немало булгаризмов, в которых деназализация не прошла (удм. (бес.) *eŋgej* ‘золотка’ ← булг.: чув. *iŋge*; удм. (елаб., малм.-урж., уф.) *tingi’li* ‘ось’ ← булг.: чув. *tənəl*; удм. *kandelem* ‘свидетель’ ← булг.: чув. *kündelen* [Wichmann 1903: 57, 71, 107] и др.), более того, по крайней мере два древнеосетинских (аланских) заимствования в прапермском (алано-пермские контакты исторически должны были предшествовать тюркско-пермским, хотя возможно, что позднейшие аланизмы проникали в прапермский уже в эпоху Волжской Булгарии) не попали под деназализацию: удм. *andan* ~ коми *jemdon* < ППерм. *\*andan* ← алан.: осет. *aendon* ‘сталь’; удм. *gondjr* ‘медведь’ ~ коми *gundjr* ‘змея, дракон, чудовище’ ← алан.: осет. (*kæf*)*qwyndar* ‘дракон’ [Напольских 1997]. Из всего этого следует, что слово, прошедшее пермскую деназализацию, едва ли является булгарским заимствованием, поэтому альтернатива такова: либо булгарское название ‘гриба’ заимствовано из пермского (а пермское – из балто-славянского), либо оба эти слова независимо заимствованы из балто-славянского источника, и во всяком случае заимствование его в прапермский должно было иметь место в добулгарское время (до конца VIII в.).

Употребление в пищу грибов известно народам Предуралья, однако до сих пор некоторые группы некрещёных удмуртов Башкирии, например, грибы в пищу категорически не употребляют, сохраняя традицию, свойственную, видимо, в прошлом большинству уральских и алтайских народов (за исключением мухомора, использовавшегося как галлюциноген). Распространение этой славянской гастрономической привычки в Волго-Камье, с которой очевидно и связано заимствование названия ‘гриба’, не могло быть внезапным, и, соответственно, трудно представить, каким образом рассматриваемый термин мог быстро войти в язык вчерашних степняков-булгар и тут же (в период ранних булгаро-пермских контактов) быть заимствован из булгарского в прапермский. Таким образом, учитывая все приведённые здесь аргументы, предположение о заимствовании ППерм. *\*gobz* ‘гриб’ < *\*gombz* непосредственно из языка близкого праславянскому в период до начала интенсивных пермско-булгарских контактов (т. е. во всяком случае раньше конца VIII в.) следует считать практически несомненным. Булг. *\*gümbä* при этом скорее всего должно рассматриваться как независимое заимствование из того же близкого праславянскому источника или из прапермского.

б. ППерм. *\*žožžg* ‘гусь’.

Удм. *žazeg* ~ коми-зыр. *žožeg*, коми-язьв. *žuzžak* ‘гусь’ < ППерм. *\*žožžg* ‘гусь’ [КЭСК: 91]. В данном слове следует выделять словообразовательный суффикс *\*-eg* (см. выше о слове ‘рожь’), а его основу восстанавливать как *\*žožž-* и возводить к более старой (до пермской деназализации) праформе типа *\*žohć-* / *\*žohś-*, которую трудно не сопоставить с сатемными рефлексам ПИЕ *\*ǵhan-s-* ‘гусь’ [IEW: 412] – прежде всего, с балтскими: лит. *žąsis*, лтш. *zuoss*, прус. *sansu* ‘гусь’, или с гипотетическим *\*zohś-* ‘гусь’, реконструируемым на основании укр. *дзусь* ‘гусь (подзывает слово)’ и указанных балтских форм (при этом “нормальное” ПСлав *\*gohś-* должно скорее рассматриваться как германское заимствование) [Rudnyukij 1970]. Возможность балто-славянского происхождения ППерм. *\*žožž-* ‘гусь’, однако, может быть подвергнута сомнению: если принять старое сопоставление Ю. Вихманна (цит. по: [КЭСК: 91]) ППерм. *\*žožž-* ~ саам. (норв.) *čüönje* ‘гусь’ (фонетически вполне приемлемое), то можно восстановить финно-пермское *\*čonća* ‘гусь’, которое в силу своей древности (распад финно-пермской общности имел место едва ли позднее середины II тыс. до н. э.) не может быть включено в число предлагаемых здесь поздних заимствований, и скорее происходит от формы *\*džans-* (< ПИЕ *\*ǵhan-s-*) какого-то древнего центрально-европейского сатемного индоевропейского языка (подробнее о возможности таких контактов см. [Napol’skich 2002]) или из ар. *\*jħansa-* (др.-инд. *hamsa-* < ПИЕ *\*ǵhan-s-*).

7. ППерм. \**rüb-* ‘вырубать, делать паз, зарубку’.

Удм. *žibi, žubi* ‘паз, метка’, *žubjini* ‘вырубать паз, делать (вырезать, вырубать) метку’ ~ коми *riьni* ‘делать зарубы, засечки’ < ППерм. \**rüb-* ‘вырубать паз, делать зарубку’ [КЭСК: 246] ← балт.-слав.: ПСлав. \**robiti* ‘рубить’ ~ лит. *rumbúoti* ‘подрубать’. Практически безупречное сопоставление с пермской деназализацией и старым переходом \**r-* > \**ž-* в удмуртском, под который не попало ни одно русское заимствование.

8. ППерм. \**ćors* ‘веретено’, \**ćors-* ‘прясть’.

Удм. *ćers* ‘веретено’, *ćersjini* ‘прясть’ ~ коми *ćers* ‘веретено; ось, стержень’, коми-язьв. *ćors* ‘веретено’ < ППерм. \**ćors* ‘веретено’, \**ćors-* ‘прясть’ [КЭСК: 311]. Данный корень сравнивали с венг. *csür* ‘ось, веретено’ [MSzFE I: 130-131], которое, однако, является поздним венгерским новообразованием (две разные гипотезы см. в [MTESz I: 582, 488; EWU: 231]). В качестве источника пермских слов ср. ПСлав. \**česrati* ‘чесать, трепать (шерсть, волокно)’, данный глагол образован в праславянском ‘от именной основы \**česr-*, в свободном виде не зафиксированной и служившей, видимо, названием орудия, ср. родственное ирл. *cír* ‘гребень’ < \**kesra*” [ЭССЯ IV: 90-91]. Большой деревянный гребень для чесания шерсти и льна у разных народов Восточной Европы использовался и в качестве прялки. При заимствовании \**česr-* в прапермский можно допустить развитие семантики \*‘гребень’ > \*‘гребень-прялка’ > ‘прясть’ > ‘веретено’ и метатезу \**česr* > \**ćors*.

9. ППерм. \**koňz* ‘пушной зверёк: белка, песец; кошка’.

Удм. *koňi* ‘белка; денежная единица, копейка’ (> *koňdon* ‘деньги’, где *-don* = *dun* ‘цена’) ~ коми *kaň* ‘кошка’ (диал. также – ‘vulva’); (вым., иж., печ. нвыч., уд.) *kijň* ‘песец’ < ППерм. \**koňz*. Соответствия в вокализме нетривиальны, в коми диалектах следует предполагать расщепление корня с разной огласовкой (так называемый “пермский умлаут”) и отдельным развитием семантики<sup>14</sup>, и всё это наводит на мысль о возможности заимствования из третьего языка с разной адаптацией чужого корневого гласного в прапермских диалектах.

Источником такого заимствования могло стать балт.-слав. \**kounja*: ПСлав. \**kuna*, \**kunica* ‘куница, кошка, пушной зверёк; vulva, девушка’ [ЭССЯ XIII: 102-105] ~ балт.: лит. *kiaunė, kiaunis*, прус. *caune*, лтш. *sauna, saune* ‘куница’, лтш. *kuna, kunina* ‘сука’. И фонетически и семантически соответствие бесспорное, мотивировка заимствования могла быть связана с развитием пушной торговли в Восточной Европе.

10. Удм. *bižjini* ‘бежать, течь; выйти замуж’.

Удм. *bižjini*, (юж.) *bižjini* не имеет параллелей в родственных языках. Предположение о тюркском заимствовании (ср. кирг. *boz* ‘убежать, бежать’, чагат. *biz* ‘избегать, удаляться’) [Алатырев 1988: 229] не проходит в силу ограниченного распространения тюркских слов,

<sup>14</sup> В финно-угроведческой литературе коми *kaň* ‘кошка’ и *kijň* ‘песец’ рассматриваются отдельно. Для *kaň* предложена совершенно неменяемая этимология: то ли от якобы “ономатопоэтического” (см. ниже) слова (ввыч.) *kaň-kaňen* ‘украдкой, тайком’, то ли в конечном счёте из чув. *kañlă* ‘спокойный’ [КЭСК: 116]. Коми *kijň* считают заимствованием из хант. (Вах, Васюган) *kəň*, (Цингала, Согом) *kaň* ‘песец’ [Тоivonen 1956: 104; КЭСК: 153], что не имеет оснований: специальных фонетических причин предполагать направление заимствования из хантыйского в коми, а не наоборот нет никаких; хантыйский язык изобилует коми заимствованиями, а вот хантыйских заимствований в коми, известных во многих диалектах вплоть до западных, кажется, очень мало; название товарного пушного зверя скорее могло быть заимствовано из коми в хантыйский. Отделяют коми *kaň* и *kijň* друг от друга и придумывают диковинные этимологии исключительно по причине повышенного пиетета к вокализму, господствующего в финно-угроведении и особенно неуместного в данном случае, что иллюстрируется хотя бы тем обстоятельством, что упомянутое (ввыч.) *kaň-kaňen* ‘украдкой, тайком’ (собственно, буквально ‘кошкой, по-кошачьи’ – образование данного наречия от *kaň* ‘кошка’ с помощью суффикса инструменталиса *-en* очевидно и звукоподражание тут не при чём) соответствует (вым., скт.) *kijň-kijň* ‘тж’ [ССКЗД: 147, 187] – с традиционной точки зрения и эти два слова следует, видимо, рассматривать отдельно!

которые фонетически трудно связывать друг с другом и тем более – с удмуртским словом. Предположение о заимствовании из балт.-слав. *\*bēdź-* < *\*bēgeti* (с палатализацией как в слове ‘рожь’ – см. выше): ПСлав. *\*běžati* ‘бежать, течь’, лит. *bėgti* ‘бежать’ [ЭССЯ II: 92] с фонетической точки зрения вполне допустимо, это слово могло быть заимствовано первоначально как термин для обозначения брака “убегом”. Проблему представляет хронологизация такого заимствования: в принципе ничто не мешает предполагать не балто-славянский, а древнерусский (с сохранением мягкого произношения *ž* в *бѣжати*) его источник.

11. ППерм. *\*rit* ‘вечер’.

Удм. *žit* ‘вечер’ ~ коми *rit* ‘вечер’ < ППерм. *\*rit*. Дальнейших параллелей пермское слово не имеет, ср., однако, лтш. *riets* ‘закат’. Сопоставление предложено ещё в [Серебренников 1957: 70] и является едва ли не единственной приемлемой из предложенных в указанной работе Б. А. Серебренникова этимологий. Лтш. *riets* (собственно *saules rieti* ‘закат солнца’), откуда и лтш. *rietrumis* ‘запад’, хотя и кажется собственно латышским новообразованием, происходит как и лит. *rytas* ~ лтш. *rits* ‘утро’ от ПИЕ *\*er-* / *\*or-* ‘двигаться, начинать движение’ [Fraenkel 1962: 738-740], поэтому предполагать возможность того, что развитие семантики по линии ‘движение (солнца)’ > ‘восход’ / ‘закат’ > ‘утро’ / ‘вечер’ могло происходить и в каких-то других древних балтских диалектах – вполне возможно. Данное сопоставление является пожалуй единственным в списке, не имеющим явных параллелей в славянских языках.

Приведённый здесь список (который, повторю, скорее всего может быть расширен по меньшей мере в два раза) достаточен для того, чтобы постулировать имевший место контакт между диалектом макробалтского / балто-славянского языкового ареала, близким к праславянскому (ср. семантику большинства слов, следы палатализации по типу второй славянской), но не идентичного ему – с одной стороны – и финно-угорскими языками Волго-Камского региона – с другой. Скорее всего тюркские языки региона непосредственного участия в этом контакте не принимали, и отмечаемые параллели в тюркских языках попали туда позднее, через посредство марийского или пермских (иначе говоря, этот контакт должен был иметь место до появления первых тюрков в Среднем Поволжье, болгар в VIII в.). Время контакта может быть определено как период во всяком случае предшествовавший распаду пермского праязыка (по традиционной хронологии – IX-XI вв., на самом деле связи между докоми и доудмуртскими диалектами сохранялись ещё как минимум два-три века [Белых 1995]). Более того, поскольку ряд рассматриваемых слов попал под пермскую денализацию, которая уже не действовала в период финальных пермско-аланских и самых ранних пермско-тюркских контактов (см. выше), следует считать, что интересующий нас контакт в целом завершился к VIII в. С другой стороны, ничто в облике как прапермских, так и балто-славянских праформ не указывает на слишком глубокую древность этих заимствований. Кроме того, нельзя не учитывать культурный контекст рассматриваемой лексики: речь идёт в частности о терминологии пашенного земледелия с озимыми посевами (см. также выше данные о времени появления ржи в Прикамье). Поскольку в контакт явно были вовлечены марийский и мордовский языки, локализовать его следует именно в Нижнем Прикамье – Среднем Поволжье, а не в более северных районах.

В IV–VII вв. от бассейна р. Ик (левый приток нижней Камы) на востоке до р. Суры на западе и от низовьев рр. Вятка и Кокшага на севере до Самарской луки на юге была распространена именьковская археологическая культура, для которой были характерны развитое земледелие с посевами проса, пшеницы, полбы, ячменя, овса, гороха и ржи в сочетании с домашним скотоводством (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, лошади), укреплённые городища с группирующимися вокруг них селищами с остатками срубных полуземлянок, погребальный обряд – кремация на стороне с последующим погребением останков и сопровождающего инвентаря. Характер, время и район контактирования

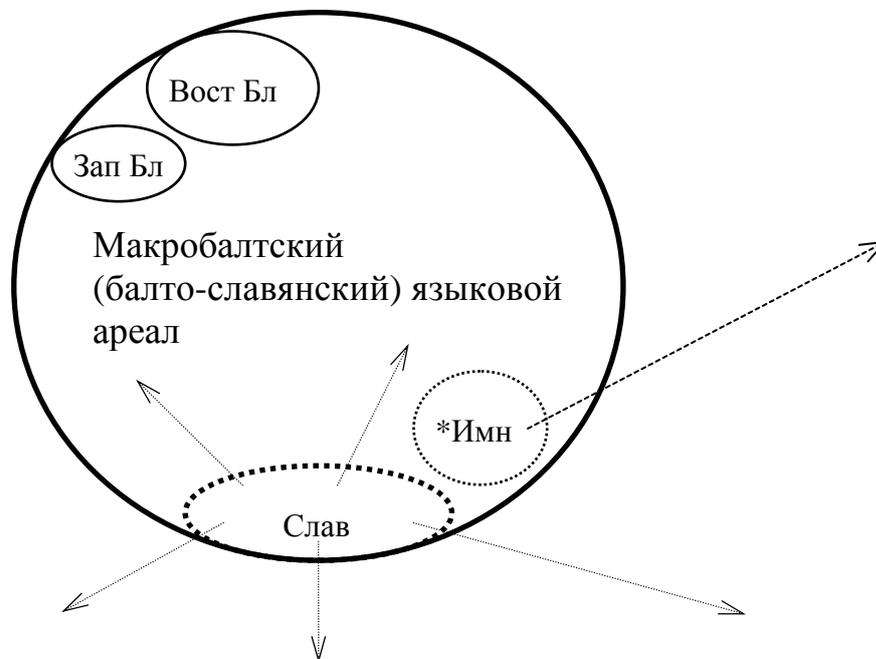
именьковцев с финно-угорским населением Волго-Камья точно соответствует реконструируемым параметрам контакта неизвестного балто-славянского языка с финно-угорскими языками региона.

Как общий облик этой культуры, так и специфические параллели с пшеворскими и черняховскими древностями приводят археологов к выводу о приходе именковцев с запада, из Поднепровья, о принадлежности именковской культуры к кругу постзарубинецких культур Восточной Европы [Матвеева 1981; Седов 1994]. Не вдаваясь в дискуссию об этнолингвистической привязке зарубинецких и постзарубинецких древностей, замечу, что при любом подходе к этой проблеме едва ли возможно отрицать присутствие и даже преобладание среди постзарубинецкого населения балто-славянских групп, принадлежащих именно к южной части макробалтского ареала, то есть в любом случае достаточно близких тем группам, к диалектам которых восходит праславянский.

Схематически место “именьковского” языка в балто-славянском / макробалтском ареале может быть обозначено следующим образом:

Рис. 1.

Место “именьковского языка” в балто-славянском ареале.



**Зап Бл** – ареал формирования западно-балтских языков; **Вост Бл** – ареал формирования восточно-балтских языков; **Слав** – ареал формирования праславянского и экспансия славянской речи с сер. VI в.; **\*ИМН** – ареал формирования “именьковского языка” и миграция именковцев в Волго-Камье.

#### Сокращения названий языков и диалектов

Алан. – аланский; алб. – албанский; ар. – арийский (индо-иранский); балт. – балтский; балт.-слав. – балто-славянский; башк. – башкирский; болг. – болгарский (славянский); булг. – болгарский (тюркский); вахан. – ваханский; вепс. – вепсский; герм. – германский; голл. – голландский; дат. – датский; др.-инд. – древнеиндийский; др.-ирл. – древнеирландский; др.-исл. – древнеисландский; иран. – иранский; кар. – карельский; коми-зыр. – коми-зырянский (ввыч. – верхневычегодский, всыс. – верхнесысольский, вым. – вымский, иж. – ижемский, лет. – летский, луз. – лузский, нвыч. – нижневычегодский, печ. – печорский, скт. – сыктывкарский, уд. – удорский); коми-перм. – коми-пермяцкий; коми-язьв. – коми-язьвинский; лат. – латинский; лит. – литовский; лтш. – латышский; мар. – марийский (г. – горномарийский); монг. –

монгольский; морд. – мордовский (м. – мокшанский, э. – эрзянский); нем. – немецкий; осет. – осетинский (диг. – дигорский, ирон. – иронский); перс. – персидский; ПИЕ – праиндоевропейский; ППерм. – прапермский; ПСлав. – праславянский; ПУ – прауральский; приб.-ф. – (пра)прибалтийско-финский; прус. – (древне)пруский; ПФУ – прафинно-угорский; рус. – русский; тат. – татарский; тю. – (пра)тюрский; удм. – удмуртский (бес. – бесермянский, гл. – глазовский, елаб. – елабужский, малм. – малмыжский, малм.-урж. – малмыжско-уржумский, сев. – северный, сред. – срединный, уф. – уфимский); укр. – украинский; ф. – финский; фрак. – фракийский; чув. – чувашский; эст. – эстонский.

## Литература

- Алатырев В. И. 1988. Этимологический словарь удмуртского языка. Буквы А – Б. Ижевск.
- Ахметьянов Р. Г. 1989. Общая лексика материальной культуры народов Среднего Поволжья. Москва.
- Белых С. К. 1995. Следы общепермского языкового континуума в удмуртском и коми языках // Финно-угроведение, № 2. Йошкар-Ола.
- Иванов Вяч. Вс., Гамкрелидзе Т. В. 1984. Индоевропейский языки индоевропейцы. Т. I–II. Тбилиси.
- Иллич-Свитыч В. М. 1971. Опыт сравнения ностратических языков. Введение. Сравнительный словарь (b – K). Москва.
- ИЭСОЯ I-V – Абаев В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I–V. М.-Л., 1958-1989.
- Кляшторный С. Г., Старостин П. Н. 2002. Праславянские племена в Поволжье // История татар с древнейших времён. Том I. Народы степной Евразии в древности. Казань.
- Кнабе Г. С. 1962. Словарные заимствования и этногенез // Вопросы языкознания. М. №1.
- Краснов Ю. А. 1971. Раннее земледелие и животноводство в лесной полосе Восточной Европы. Москва.
- КЭСК – Лыткин В. И., Гуляев Е. И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва, 1970.
- Матвеева Г. И. 1981. О происхождении именьковской культуры // Древние и средневековые культуры Поволжья. Куйбышев.
- Напольских В. В. 1996. Протославяне в Нижнем Прикамье в середине I тыс. н.э.: данные пермских языков // Христианизация Коми края и ее роль в развитии государственности и культуры. Том 2. Филология. Этнология. Сыктывкар.
- Напольских В. В. 1997. Происхождение названия ‘медведя’ / ‘дракона’ в пермских языках // *Linguistica Uralica*. Tallinn. Т. 33, №1.
- Напольских В. В. 1997а. Введение в историческую уралоистику. Ижевск.
- Напольских В. В. 2002. Материалы Д. Г. Мессершмидта об удмуртах и происхождение удм. *kišno* ‘жена’ // *Linguistica uralica*. Tallinn. Т. 38, №3.
- Насибуллин Р. Ш. 1992. К проблеме этнической принадлежности носителей именьковской археологической культуры // Вестник Удмуртского университета, 6. Ижевск.
- Насибуллин Р. Ш., Дудоров В. Ю. 1992. Обратный словарь удмуртского языка. Ижевск.
- Общая лексика. – Общая лексика германских и балто-славянских языков. Ред. А. П. Неподкупный. Киев, 1989.
- ОИЯ 1987 – Основы иранского языкознания. Новоиранские языки: восточная группа. Ред. В. С. Расторгуева. Москва.
- Прокопов А. В. 1983. Ранняя история земледелия в Прикамье // Этнические процессы на Урале и в западной Сибири в первобытную эпоху. Ижевск.
- Седов В. В. 1994. Очерки по археологии славян. Москва.
- Седов В. В. 2000. Русы VIII–IX вв. // Этимология 1997-1999. М.
- Серебрянников Б. А. 1957. О некоторых следах исчезнувшего индоевропейского языка в центре Европейской части СССР, близкого к балтийским языкам // Труды Академии наук Литовской ССР. Серия А, вып. 1 (2). Вильнюс.
- СРНГ – Словарь русских народных говоров. Гл. ред. Ф.П.Филин. Т. I– . Ленинград.
- ССКЗД – Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов. Сыктывкар, 1961.
- Стеблин-Каменский И. М. 1982. Очерки по истории лексики памирских языков (названия культурных растений). Москва.
- Хелимский Е. А. 1989. Самодийская лингвистическая реконструкция и праистория самодийцев // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Материалы к конференции. Часть 2. М.
- Цыганкин Д. В., Мосин М. В. 1977. Эрзянь келень нурькине этимологической словарь. Саранск.

- ЭСРЯ I–IV – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I–IV. Перевод с немецкого, примечания О. Н. Трубачёва. Москва, 1986–1987.
- ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Ред. О. Н. Трубачёв. Т. I–. Москва.
- EWU – Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. Hrsg. von L. Benko. Budapest, 1993-1994.
- Fraenkel E. 1962. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I–II. Heidelberg – Göttingen.
- Holmberg U. 1914. Permalainen uskonto. Porvoo.
- IEW – Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern – Wien, 1959.
- Kalima J. 1936. Itämerensuomalaisen kielen balttilaiset lainasanat. Helsinki.
- Kluge F. 1989. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin – New York.
- Mayrhofer I–IV – Mayrhofer M. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd. I–IV. Heidelberg, 1956–1980.
- MSzFE – Magyar szókészlet finnugor elemei. Köt. I–III. Szerk. Gy. Lákó, K. Rédei. Budapest, 1967–1978.
- MTESz – Magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Főszerk. L. Benko. Köt. I–III. Budapest, 1967–1973.
- MW – H. Paasonen's Mordwinisches Wörterbuch. Bearb. und hrsg. von Martti Kahla. Bd. I–V / Lexica Societatis Fenno-Ugricae, 23:1-5. Helsinki, 1990-1996.
- Munkacsí B. 1896. A votják nyelv szótára. Budapest.
- Napol'skich W. W. 1996. Die Vorfahren im unteren Kamagebiet in der Mitte des 1. Jahrtausends unserer Zeitrechnung: Permische Sprachmaterial // Finnisch-ugrische Mitteilungen. Hamburg. Bd. 18/19.
- Napol'skich W. W. 2002. Zu den ältesten Beziehungen zwischen Finno-Ugriern und zentraleuropäischen Indogermanen // Finno-Ugrians and Indo-Europeans: linguistic and literary contacts. Proceedings of the Symposium at the University of Groningen, November 22–24, 2001. Ed. by Rogier Blokland, Cornelius Hasselblatt / Studia Fenno-Ugrica Groningana, 2. Maastricht.
- Paasonen H. 1906. Über die Benennung des Roggens im Syrjänisch-Wotjakische und im Mordwinischen // Journal de la Société Finno-Ougrienne, 23. Helsinki.
- Porzig W. 1974. Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets. Zweite Auflage. Heidelberg.
- Rédei K. 1969. Gibt es sprachliche Spuren der vorungarisch-permischen Beziehungen? // Acta linguistica. T. 19: 3-4. Budapest.
- Rédei K., Róna-Tas A. 1972. A permi nyelvek ősermi kori bolgár-török jövevényszavai // Nyelvtudományi közlemények. Köt. 74: 2. Budapest.
- Rudnyckij J. B. 1970. Lithuanian zasis – Ukrainian dzus // Donum Balticum. To Pr. Chr. S. Stang. Stockholm.
- SKES – Suomen kielen etymologinen sanakirja. Toim. Y. Toivonen et al. N. I–VII. Helsinki, 1955-1963.
- Toivonen Y. 1956. Über die syrjanischen Lehnwörter im Ostjakischen // Finnisch-ugrische Forschungen, 32:1-2. Helsinki.
- Thomsen V. 1890. Berøringer mellem de finske og de baltiske (litauisk-lettiske) sprog. København.
- UEW – Rédei K. Uralisches etymologisches Wörterbuch. Budapest, 1986–1991.
- Wichmann Y. 1903. Die Tschuwassischen Lehnwörter in den permischen Sprachen / Mémoires de la Société Finno-Ougrienne, 21. Helsinki.
- Wichmann Y. 1987. Wotjakischer Wortschatz / Lexica Societatis Fenno-Ugricae, 21. Helsinki.